

## **С богами легче**

С богами намного легче. У жрецов — свои сложности, но мне-то легче, бесспорно. Бог хочет понятного: еды, браги, одежды, чистой бумаги. Если он твой предок, тоже всё ясно: хочет еще, чтобы ты был цел, здоров и не вредил себе без нужды. Всё тут житейское, живое. И гнев, когда бог гневается, тоже живой. А поди пойми мертвого, да не простого мертвеца — Высочайшего призрака.

Даже к деду непросто подступиться с таким разговором. А Первому в роду я и вовсе не знаю, как объяснить, что стряслось. Попробую..

Старшие мои ведают: вот с этою кисточкой я управляюсь лучше, чем с голосом. Надеюсь, привыкли уже к моим письменным молитвам. К тому же — руки могут быть нечисты, но бумага скверну гасит. Особенно вот такая, неподкрашенная. Разотру тушь потоньше, разведу не колодезной водой, а особой, дождевой. И начну.

Напомню, о чем смиренно сообщал и прежде. Столица у нас теперь новая. Дед-то знает, Первому же в роду, понадеюсь, ведомо стало со слов потомков: у Государей сто лет уже — не временные ставки, а вековечные города. Один, на юге, отстроен и оставлен, второй и третий задуманы на востоке и на западе, для четвертого, северного, место еще не найдено. Главный, срединный, возводится сейчас. Дворец Властителя Земель почти готов, и меня, неуча, допустили к его отделке. Чтобы был жилой вид, нужно кое-где разрисовать переборки, входные проемы по краям обозначить благими письменами. И я — среди тех, кто над этим трудится. Доверие не по заслугам: верная рука от рождения ведь дается. Складный почерк, память на знаки — от ученья, а если бы не дед, едва ли я попал бы в Училище. Моего тут — только упрямство да нахальство: показался знатокам, они одобрили. И вот, я — дворцовый стенописец.

Был. До вчерашнего утра.

Работа была затеяна незадолго до Нового года. А с конца весны стали появляться странные письмена. В первый раз — в день Земли и Быка, в котором часу, никто не заметил. Как и кто рисовал — свидетелей нет. Но видно: не жуки прогрызли, не дымом закоптилось, само собою проступить не могло. Кистью и тушью исполнено, на бумаге, которую мы, рисовальщики, подготовили для работы. По почерку не похоже ни на кого из наших грамотеев. Пять знаков: «крыша», «падать», «бурьян», «расти», «застилать».

Как прочесть слова неведомого писца — тут мнения были разные. Или знаки эти есть в материковой грамоте, но в таком подборе ни в какой книге не

встречаются. А если в книгах так никто не изъяснялся, стало быть, знаки друг к другу не подходят — дают бессмыслицу. Или их по звучанию, а не по смыслу следует читать, как иной раз бывает в школярских загадках. И тогда они нечто смутное, но благое означают.

Или напротив: смысл есть, и вполне прямой. «Глухие травы покроют павшие кровли».

Согласились, что самое разумное — понять надпись как строку из неизвестного нам стихотворения. Поэты часто невнятно говорят... Любители заморской словесности начали подбирать к этой строчке пару. «Дикие птахи заселят покинутые палаты», «Густые лозы заплетут непроезжие ворота»... Потом от Государыни-матери передали: хватит множить зловещания! Перестать нелегко, но кое-как стихотворцы унялись.

А потом письма явились опять.

Знаки другие, но выведены тою же рукой. Словно бы скорбной, и еще — явно торопливой, как пишут по собственному делу, а не по должностному порядку и не для красоты. Кто-то из сановников будто бы сказал: мне похуже донесение приходило, когда у нас в восточных землях мор начался. Почерком-то другим, а по настрою такое. Смысла, может, и нет, а страх читается.

Искали разумного объяснения, что это. Чья-то глупая выходка? Рвение не по чину? Государю, мол, не всё докладывают, так надо на видном месте означить непорядки... Проклятия вредоносного чародейства? Теперь уже к согласию не пришли.

На нас, рисовальщиков, косились так, будто мы виноваты. Мы старались не обращать внимания.

В прошлое новолуние госпожа смотрительница Вдовьих покоев найдена была утром спящей прямо у входа в большой дворцовой приемной. И над нею на дверном косяке выведены были новые знаки, тушью по свежему дереву, даже без бумаги на сей раз. Госпожа не помнит, как сюда пришла. По ее словам, ложилась спать она, где и всегда: рядом с покоями Государыни-матери. И рукав у нее, конечно же, с вечера был чистый. А теперь на нем пятно от туши. Где кисть и тушечница? Неведомо. Во рву, должно быть, под дворцовой стеной, куда у нас кидают всё ненужное.

Кто слушал допрос госпожи, передают: говорила старушка искренне. Да, похмельна. Вечером, пожалуй, была и пьяна. Но в ее годы спяну ее сразу в сон тянет, а не по палатам бродить впотьмах. Ее спросили, не снилось ли ей чего. Она отвечала: да я и девицей в одержимость не приходила, а ныне уж тридцать лет как

замужем, шести внукам бабка... Всё равно, говорят, припомни, пожалуйста. И тут Смотрительница объявляет: грезился ей покойный Третий Царевич.

У Государя родни немало. Величание Третьего Царевича и на моем веку носили несколько лиц, а госпожа Смотрительница меня больше чем вдвое старше. Да и супруг ее — в прошлом Государев летописец, с его слов она знает, пожалуй, всех Третьих Царевичей за последние три сотни лет. А может, и более давних. Только отчего-то все сразу замолчали, будто поняли, о ком речь.

Госпожу отпустили домой, в столичную усадьбу. И назначили сразу два гадания: в Обрядовой палате и в Ведомстве Темного и Ясного.

Гадания сошлись и никого не порадовали. Да, надписи оставляет дух того самого царевича: среднего брата Властителя Земель. Еще в прошлое царствование он скончался — своею волей, в храме у Подвесного Моста, после того как был заподозрен в причастности к убийству тогдашнего Государева Зодчего.

Ведь вы, родичи мои, помните: был еще один город. Теперь он брошен, а тогда, пятнадцать лет назад, его строили как срединный, в дне пути к юго-западу отсюда. Прекратили строительство, когда Зодчий погиб: убит был прямо на стройке, земля осквернена, а когда она растревожена работами — скверна получается неустраняемая. Никто из жрецов ее снять не может. Только бог — но никто из богов такого знаменья не дал.

Во дворце теперь сразу вспомнили тогдашний страх. И я вспомнил. Вам, родичи, не доложил — по глупости. Надеялся, что обойдется...

Дальше всё пошло очень быстро. Третьего дня Государь при всех сановниках выразил скорбь о покойном брате. Через три часа — новая надпись, не лучше прежних. Возникла в покоях, где как раз прибирали после поминального пира, можно сказать — на виду у нескольких прислужниц. Из коих ни одна не владеет грамотой. Да и рука опять не женская. Глава Полотняного приказа назавтра огласил внеочередное назначение: Третий Царевич посмертно вводится в первый придворный чин и назначается Главным Сановником. Миную два чина и четыре, кажется, должности, если считать по обычному порядку. Ибо что обычно тревожит мятежного духа? То, что при жизни ему досталось мало почета.

На исходе позавчерашней ночи — опять проявились письма. Повторные гадания, исход тот же: умерший гневен и к смирению не склоняется.

А я еще до новых гаданий попробовал выследить писца. О чем вам, родичи, сообщаю и прошу защиты.

Я-то знал, где ждать следующих знаков. Ведь они возникали точно в том порядке, что был намечен у нас, у рисовальщиков. Мы же дворец украшали не

наобум, а по чертежу. Сам чертеж — во рву, выброшен сразу же, как пошел разговор про вторую чудесную надпись. Но я его помню, конечно. И даже там, где мы еще не успели повесить бумагу, гневный призрак рисовал — непременно на нашем месте.

Так что засел я ночью перед кладовой. Уверен: не спал. Потому что страшно было.

Увидел высокого, статного мужа в темной одежде, с неуложенными волосами. Он ко мне приблизился, а потом я ничего не помню.

Очнулся, когда уже светало. В руке кисть, на кисти тушь, на стене знаки. На бумаге и на кисти тушь высохла одинаково. Написано о каких-то яшмовых — столпах? помостах? — не знаю слова, никогда такое не попадалось. А почерк тот же, не мой. И пальцы свело — как бывает в детстве, когда твоей рукой кто-то водит из старших.

Поблагодарил я за писчую науку неизвестно кого. Умолчав о случившемся, отпросился со службы. Ныне в смятении и прошу...

Вот просьбу-то высказать труднее всего. Защитите от мертвецкой порчи? Надоумьте, родичи, чего хочет гневный дух?

Посоветуйте, что мне делать.

\* \* \* \* \*

На мои ворота глазеет какой-то человек. Выйду и окликну, чего ему надо. Иной раз в Столице примешь малого за бродягу, а окажется — он чей-нибудь челядинец. Обличьем диковат, поскольку вызван сюда служить из дальнего имения, улиц не знает еще, толком не найдет, в которую усадьбу нести господское письмо... Скорее всего, и этот ошибся.

— Кого ты ищешь?

До чего же он оборван и грязен. Без рубахи, через плечо перекинут мятый плащ, вместо штанов — короткий обтрепанный подол, вместо пояса веревка. И весь обвешан утварью: лубяная шляпа на завязках, треснутый кувшин на петле, чашка об одном ушке, плетеный коврик, скатанный наподобие свитка, и еще сума с какой-то мелкой поклажей. На запястье чётки, голова обрита. Не бродяга, видимо, а странник-монах.

— *Мчалась к милому я за чужие края*, — отвечает он, скалясь.

Неужто Тёги?

С дороги, на жаре, посреди чужой улицы, без поклона и приветия начать разговор со строчки из древних заморских «Песен Сю» — это Тёги, больше некому.

В Училище всех нас прозывали именами из иноземной старины. Я был Тинрин — в честь писца, чей почерк некогда исцелил уныние правителя. А этому достался Тёги: коварный и бесстрашный грамотей, посол и переговорщик между многими князьями страны Сю в пору тамошних усобиц. Его жизнеописание есть в «Записках Звездочета», хорошо начинается: *«Кабы ты не читал своих книг да не брался быть советником, разве навлек бы на себя такой позор? — Посмотри: язык у меня на месте? — Да. — Ну и довольно»*. Затем и нужны были эти прозвища. Чтобы мы, школяры, понимали: хотя «Записки Звездочета» и составлены за морем больше тысячи лет назад, но примеры оттуда путеводны и для нас.

Не знаю, как тот, а наш Тёги был несносный задавака. От себя вовсе не говорил, только выдержками из великих, стихами сыпал, как осенний бобовник зернами. Родич наставника Государева внука, еще бы — любые книги к его услугам!

А потом случилось то, от чего как раз книги и предостерегают: нельзя бесконечно подниматься, рано или поздно упадешь. Поблизости от Училища стал ходить какой-то подвижник, с виду монах. Предлагал чудесное заклятие: позволяет якобы любые письма с одного взгляда запоминать наизусть. Большинство смеялось, но Тёги поверил. Хотя, казалось бы, зачем ему-то, он и так — из первых учеников... Только задаром чудес, конечно, не дают: пришлось бросить Училище и идти подвижничать в горы. Говорили, будто Тёги так и сгинул там.

Однако ж — вот он, живой. И ухмылка прежняя, только в лице яснее проступили черты другой его родни — не столичной, а приграничной, полудикой еще и в наши дни.

Но любопытно: я настолько же мало переменялся после наших школярских лет? Узнает ли он меня?

— Ходоков-то принимаешь, стенописец Государев?

Как понять: он нарочно меня искал, разведал, чем я в последнее время занят? Или ему просто нужен любой дворцовый рисовальщик?

Не буду я притворяться. Выговорю по-заморски:

— Рад видеть *того*, с кем некогда впервые вступил в сады учености. Прошу в дом.

Отступаю от ворот. Гость мой медлит.

— А твои домашние не забранятся, что ты бритых приваживаешь?

Видно, он не впервые в Срединной столице. Знает, что тут во многие усадьбы монахам ходу нет. Ведь монахи — они же и похоронщики, значит, нечисты. А нам,

столичным, по службе приходится заходить во дворец, куда скверну заносить никак нельзя.

— Не бойся, — говорю, — я здесь один.

Он смотрит серьезно:

— Совсем?

— Дед мой скончался, матушка умерла еще раньше. Сроки скорби миновали. Отец служит в Столице, но у него теперь другая семья. Сам я не женат. Обычно со мной тут двое челядинцев, но сейчас они в имение поехали за припасами.

— Моего дяди тоже уже нет. Родители и сёстры — дома, на Жемчужном берегу. Я, как видишь, странствую.

Повторю:

— Будь моим гостем. Только, если тебе не запрещено, назовись, как теперь тебя величают.

— Побирушка Камэй. Вот так, — он в воздухе пальцем чертит два знака. Наизнанку: чтоб не ему, а мне лучше видно было, как они пишутся. *Ка* — «сменный», «временный», *мэй* — «имя». При всей своей школярской спеси, Тёги подсказывал на уроках всегда отменно. Даже тем, кто его о том никогда не просил, — вроде меня.

Итак, Побирушка без постоянного имени.

— А хорош домик-то!

Обычный городской дом чиновника в невеликих чинах. От соседних отличается только тем, что во дворе уцелело большое дерево. Кривое, узловатое, как то, которое воспел Сё Сю. Вот его и не спилили, пока шла стройка. Сливы, груши и прочие полезные деревья у нас посажены тоже, как и у всех. Но им еще расти и расти.

В доме Камэй поводит носом:

— Бумаги жжешь? Всё так скверно?

Что же? Раз он монах, с ним и пристало толковать о священном. Показываю глазами: вон там домашний жертвенник, свежий пепел на курильнице перед поминальными дщицами. Мое письмо родным, а вовсе не казенные грамоты и не заговорщическая переписка. Отвечаю:

— Да. Скверно. Могу я просить тебя об обряде очищения?

Он удивился. Не ждал от грамотея заботы о подобных вещах?

— Очищения? Смотри от чего.

— После одержимости.

Ведь когда дух водит кистью, пользуясь твоею рукой, — это одержимостью

называется?

— А-а. Да, конечно, — кивает он. Буднично так: еще бы, мол, не знать обрядов! И продолжает:

— Ты тут себе в одиночестве хоть стряпаешь?

Обрушенной крупы мне мои люди оставили. С варкой каши, надо думать, управлюсь. Просто в последние дни есть что-то не хотел. Соленья в кладовке стоят, а трав я с огорода нарву.

Вот только как бы ему сказать...

— Ты перед трапезой — не откажешься от бани?

— Да! Я в пути несколько... Сам чуешь. *Грожу врагам зловонным смрадом.*

Покажу, где купальня. Воды себе пусть натаскает сам.

— И еще... Примешь ли в дар одежду? Ради Просветленного, Закона его и Общины?

Он согласен. Только вслед мне кричит деловито:

— Новую — не давай!

Недоставало мне еще наставников по части бережливости.

— Почему? *Бездельник-нищий всё пропьёт?*

— Кабы пропил! Нет: на книжки сменяю!

Уже забравшись мыться, он замечает меня в огороде и снова окликает:

— На мою долю лука не режь, я не ем.

Разборчивые нищие в Столице...

\* \* \* \* \*

Каша доедена, сидим впотьмах. В горле сухо: пока говорил в основном я. Глупо было бы увиливать от рассказа про одержимость, раз уж я у этого человека прошу помощи, очищения.

Побирушка потягивается сладко. Молвит:

— Третий Царевич, говоришь? Проверим, что я после стольких-то лет в горах помню про то дело.

Будто я ему не про мерзость толкую, а про что-то весьма любопытное.

— Кстати о горах, Камэй. Ты получил заклинание?

— Которое? А, чтобы все книжки помнить? Не-а, не получил.

— Я тоже сомневался, что такое чудо бывает.

— Бывать-то бывает. Только перед тем каждую книгу надо сорок раз перечесть. А уж потом, когда развернешь ее в сорок первый раз и произнесешь над нею то слово — тут-то всю ее враз и вспомнишь... Давай лучше повторим нашу

повесть. И так: строили Срединную столицу. Я вот сейчас сюда шел мимо тех мест — там всё уже заросло.

— *Дикие травы на рухнувших кровлях?*

— Не диче, чем у тебя в саду. Люди живут, редьку растят, кое-где поля под рис залили... Только казенных палат нету и храмов. Ну, а тогда отвечал за строительство господин Государев Зодчий. Распоряжался, рабочих по местам расставлял, а больше бранился с господами, кто не к сроку своих людей по Государеву набору присылает. И еще с землемерами склочничал и с местным жречеством: куда какую улицу вести, какое божество прогневится и какое мировое первоначало потревожится. Словом, наслаждался славою и общей любовью... Однажды едет Зодчий с осмотром, в открытых носилках, и вдруг по нему кто-то стреляет. Сверху, со стены недостроенной. И — наповал. Носильщики бросаются ловить стрелка, строители орут: дурное знаменье, бросай работу! Как в той притче — часу не прошло, а все уже знали, кто стрелял, какую стрелой, из какого лука, зачем и по чьему приказу. Вот только к Зодчему никто не подошел помочь. Так он и помер.

Страх тех дней Камэй помнит не хуже меня. Двух суток не минуло, а о кровопролитии в Срединном городе уже жужжало все наше Училище. В храмах моления, во дворце гадания, у нас уроки отменили. Пришла беда, скоро и до нас, до Южной Столицы докатится!

— Кажется, лучник не очень и скрывался?

— Ничуть. *Не изменившись в лице, смеялся и болтал, как ни в чем не бывало...*

...Как пишет Звездочет. Наши убийцы не уступают древним головорезам материка. Камэй продолжает:

— И надо думать, было чему радоваться. Ведь господин его к тому времени уже два месяца как скончался. Нате вам: исполнитель есть, а вдохновителя — нет!

— Погоди: а кто был господином того стрелка?

Побирушка разводит руками:

— А вот этого уже стыдно не помнить! Кто у нас в те поры был первый стихотворец Облачной страны?

Стыдно не помнить, а вспоминать еще того тошнее. Певец, глава рода Государевых Оружничьих. Говорю:

— И верно. Как до Училища дошла весть о кончине Певца, я помню. Как раз весной перед тем летом, когда нечестие на стройке свершилось... Только, кажется, никто не поверил, что этот Лучник стрелял по наущению покойного Певца. А не по



указке кого-то из живых.

— О том и речь. Указчиком и прослыл Третий Царевич. Пошла молва. Царевич того не снес: затворился у Подвесного Моста и умер. Уморил себя голодом, как рассказывали моему дяде.

— Чего Царевич не снес? Клеветы? Или того, что Зодчего погубил, а с ним и новую Столицу?

— И Лучника. Вот тут и надо разбираться. Разное очищение понадобится, если дух обиженный — или если покаянный.

\* \* \* \* \*

Договорились мы вчера так. С утра Камэй идет разыскивать палача, кто срубил голову Лучнику. Монаху не впервой иметь дело с подобными людьми, а мне нельзя мараться лишней скверной: вдруг во дворец вызовут... У палача надо попробовать узнать: не сказал ли стрелок перед смертью чего-нибудь такого, что объясняло бы, почему дух Царевича до сих пор не покоится. Сам же я попытаюсь посетить сына нашего Певца — нынешнего господина смотрителя Оружейных складов.

Я после одержимости и не решился бы к нему зайти, но Оружничий сам в Государевом дворце не бывает. Считается опальным — или нарочно вызвался на такую службу, где чистоты не сохранишь. Заказывает для войска доспехи, луки и стрелы, а значит, имеет дело с мертвыми останками: с кожей и костью. Отбирает, какие из них годны для выделки.

Думал я спросить Оружничьего вот как. Певец и Третий Царевич, как известно, были дружны. Что если в свое время Царевич изобрел некий неведомый нам способ письма — заморскими знаками, но годный для звуков нашей речи? Такой, чтобы звучание сразу видеть, а не думать над ним. Говорят, далеко на западе есть такое письмо, буквенное. Могло бы быть и у нас? Однако находка Царевича осталась забыта, и теперь дух его является и выводит письма, желая нам о ней напомнить? Но мы не понимаем. А кому Царевич при жизни мог бы ее доверить, как не Певцу — самому ученому из своих обычных собеседников? Так вот: не сохранилось ли среди бумаг Певца каких-нибудь грамот, что могли бы помочь восстановить это?

Принял меня молодой господин неожиданно быстро. Да не такой он уже и молодой — моему отцу сверстник. И едва я упомянул покойного государева брата, как господин Оружничий отрезал:

— Я при том разговоре не был. Ничего не знаю.

— Осмелюсь спросить: при каком — «том»?

— Меня, юноша, пятнадцать лет назад господа повыше тебя чином допрашивали. Два месяца кряду. Если у вас в Полотняном приказе допросные листы затерять изволили, повторю: я в то полнолуние находился на службе. Никто из моих людей отцовы разговоры не подслушивал...

В итоге я понял вот что. Последней своей зимой Певец однажды созвал гостей полюбоваться полной морозной луною. Когда все уже захмелели, Певец повел некую беседу с Третьим Царевичем. Вроде бы о заморских письменах и обо всем заморском вообще. В охране же в эту ночь стоял тот самый Лучник, совсем молодой парень. Из речей Певца он невесть почему сделал вывод, что должен убить Зодчего. «Хотя такого приказа отец мой ему не отдавал и отдать не мог.» Сын Певца узнал обо всем этом, уже когда Лучника схватили и тот дал подробные показания. «Разумеется, я допрашивал его — как моего человека.» Заключил нынешний господин Оружничий, что парень либо дурак, либо безумен, и не стал заявлять права на самоличную казнь челядинца своего дома.

— Уповаю, что на сей раз ты все записал и ничего не потеряешь.

Я не стал гневить его еще больше признанием, что я — вовсе не из Полотняного приказа. И почтительно удалился.

Чтобы служить в Полотняном приказе, мало хорошего почерка и училищной подготовки. Надо по роду и выслуге иметь безупречно добрую славу. Ведь именно Полотняные чиновники ведут тайный сыск по Государеву слову. А мы с Камэем сыщики доморощенные.

\* \* \* \* \*

— Что мне нравится в палачах: уж если найдется слушатель, то поболтать они любят. До Лучника дело не сразу дошло. Все столичные злодеяния, что я пропустил, он мне изложил в попятном порядке. За все пятнадцать лет. *Блажен удел отшельника...*

Мы с Камэем опять сидим у меня. Обсуждаем итоги дня.

— То созерцание луны, о котором ты говоришь, Лучник вспоминал перед смертью. И точно, признался: какие-то слова, слышанные там, он счел заветом себе на будущее.

— Что вообще этот стрелок делал на пирушке? Певец опасался за свою жизнь, потому и не расставался с охраной? И в тот раз назвал имя своего врага?

Или просто указал глазами: вот он. После чего Лучник почти полгода ждал случая. Певец за то время умер — но враг его, Царевич, всё равно должен был

поплатиться. Стрелять в Государева родича Лучник не посмел бы. Он рассчитал, кого надобно убить, чтобы убийство сочли выгодным именно Царевичу. Но почему именно Зодчего? Человека тоже знатного — но совсем не из этого круга книжечеев и стихотворцев?

Камэй размышляет вслух:

— Что делал на пиру простой челядинец... Вот, Тин, это-то любопытнее всего. Перед самой казнью Лучник сказал палачу: *«Слышал я, что просвещенный господин прячет от людей свои достоинства, а верный слуга, умирая, оставляет честное имя»*.

— Погоди. *«Он числил меня за человека благородного, и я должен отомстить за него, как человек благородный»*, — это? *«Записки Звездочета»*, жизнеописания мстителей?

— Они самые. Понимаешь теперь?

— Не понимаю. У Звездочета эти слова произносит Ёсё. Человек, который действительно мстил — за любимого господина, убитого вражеским князем. Ёсё этого князя преследовал, дважды попался, а тот его не стал казнить. Оба раза поговорил с ним по-хорошему. Этот грозный князь из черепов своих врагов чаши для вина делал — и вдруг оказалось, что он не чужд и мудрости, и милосердия. Во второй раз Ёсё князя выслушал, а потом попросил у него плащ, проткнул ткань кинжалом, молвил: *«Теперь я отомстил»*, — и закололся сам.

— Потому что не вынес, когда враг оказывается другом?

— Может, и так, Камэй. Только скажи мне: что из этого относится к нашему делу? За что Лучник квитался, ежели Певец мирно скончался, своею смертью?

— И у нас никому в голову не пришло бы соорудить заздравную чашу из его черепа. На наших-то диких островах... Не в отмщении дело, Тин. Дело в книге. Не только в *«Записках»*, а в заморской учености вообще. Певец пристрастил парня к этой заразе. И на пиру этот Лучник присутствовал не как телохранитель, а как достойный собеседник. Или, если угодно, как ученая обезьянка...

— Да о чем они все-таки беседовали?

— А этого Лучник палачу не излагал. Надо искать тех, кто еще в ту ночь любовался луной в саду у Певца. Кого там тебе назвал Оружничий?

— Я проверил. Двое из них с тех пор умерли. Один отбыл в восточные земли, еще один уехал в посольство на материк. То есть тоже неясно, живы ли. В Столице — один старик, совсем больной, тогдашний Государев летописец... Ох!

— Что?

— Я сообразил, на ком этот старик женат.

\* \* \* \* \*

Дом старого Летописца — на самой окраине, в низине. Заросли во дворе, словно на болоте. Привратник тоже из прошлого царствования: дряхлый, в ношеном платье с хозяйского плеча.

Утренний туман еще не поднялся. Но прав был Камэй: нас приняли приветливо.

Усадили в покоях с видом в сад. Хозяин — длинный, худой, и пахнет от него так, будто он нарочно брагой себе рукава пропитывает вместо благовоний. Впрочем, не то чтобы бражный дух тут только вдыхали.

Как мне рассказали давеча, Летописец пятнадцать лет назад на допросах по делу Зодчего и Певца будто бы заявил, что ничего не помнит из разговоров на пиру: пьян был. Так и продолжает с тех пор?

— Уж не знаю, выпьют ли со мной молодые господа. Нынче всё больше трезвость блюдут, от монахов понабрались...

Товарищ мой по моему настоянию оделся в столичное, однако бритой головы не стал прятать. Летописец наливает чарку, подносит Камэю и спрашивает:

— Э? Видели уже — возле Восточного храма?

— Видел. *Сойдите, мужи, с колесниц, спешите в палату совета.*

У самого въезда в город строится этот храм. Я и сам туда подхожу иногда, смотрю, высоко ли выросла храмовая башня вокруг своего осевого столпа: ствол дерева суги в тринадцать шестов высотой, есть на что поглядеть! Потом-то его сквозь ярусы уже не увидишь... А главный храмовый зал и жилые покои для монахов уже готовы. Камэй наверняка храма не миновал. Но каких гостей там приметил, мне не рассказывал.

Объясняет сейчас:

— Доверенные Государевы монахи из Южной столицы. Срочно вызваны ко двору, и полагаю я, как раз затем, чтобы наше дело улаживать.

Чарку он меж тем принял. Хозяин улыбается:

— Ну, я так и думал, что дело у нас общее.

Есть ли в монашеском Законе такое заклинание, чтобы брагу обратить в простую воду? Если да, то лучше бы Камэй его прочел, не для себя — так для меня. Не привык я выпивать спозаранку. Но беру свою чарку, а Летописец наливает еще две. И одну оставляет себе, а другую не глядя протягивает назад. Сидит он спиной к столбу, между столбом и стенкой проем затянут бумагой. И оттуда чья-то проворная ручка чарку принимает. Край рукава — женского, домашнего, шелк от ветхости совсем мягкий, даже не шелестит.

Не хватало только, чтобы хозяин решил, будто и Камэй здесь предлагает свои услуги по очищению, еще даже не прошенный. Лучше уж я сам скажу, чего нам надо.

— Не знаю, верны ли скудные слухи, дошедшие до меня. Но по всему выходит: вы, наставник, один остались в Облачной стране из тех собеседников нашего Певца и Третьего Царевича...

— Ты про то, как мы встарь луною-то любовались? Отрадно, что не мне одному, старому сумасброду, пришло на ум это... мм... воспоминание. О той поре годовые записи уже не я вел, но кое-какую малость изложить попытаюсь.

— Рады будем услышать.

— В девятый год Черепашьего Постоянства, в четырнадцатые сутки одиннадцатого месяца, во вторую ночную стражу Глава летописцев, он же господин Третий Царевич, изволил бодрствовать в Восточном крыле усадьбы отставного Государева Оружничьего. Ныне то место чаще называют Приютом Певца. При том присутствовали также шестеро приглашенных, перечислять же их здесь нет надобности. Нет?

— Пожалуй, так.

За бумажной перегородкой слышен старушечий смешок. Невеселый, но будто чтобы ободрить нас. Старик рассказывает:

— Намерением собравшихся было сложить два-три десятка песен, подходящих к морозной ночи. Когда иные гости любовались уже двумя лунами на месте одной, хозяин усадьбы обратился к Царевичу, говоря: «О, если бы между луной и моими очами не сквозил иноземный знак "луна"...» И повел речь о дурной игре века нашего, когда Облачные острова притворяются, будто они — материк или часть материка. Мы рядимся в заморские платья, пишем чужими письменами, уродуем землю, возводя здесь подобия чужих городов...

Я гляжу на Камэя. Значит, мы всё неверно рассчитали? Певец и его друзья были не ценителями всего заморского, а наоборот, ненавистинками? Камэй не отвлекается, слушает старика.

— ...А наши боги молчат. Не ждут ли, когда в столицах, размеченных по иноземному чертежу, побольше народу наберется, — и тогда обрушат гнев свой на стогна и сонмища? Говорил и дальше со страхом: ведь заморские державы ничем не лучше нашей! Не зря отроки царя Бу-Воина из страны Кан поплыли к нам, посланные на поиски тайны вечной жизни, — и не вернулись, остались на нашем берегу, ибо видели: здесь лучше.

Не вспоминает всё это бывший летописец. Читает наизусть то, чего ему

написать не дали. Не только одну из Столиц погубил выстрел на стройке — а еще и одну из наших летописей. Ведь когда Царевич умер, свернули и работу тех книжников, кого он возглавлял.

— Мы можем собраться, накрыть столы с заморскою резьбой, прочесть стихи тамошних поэтов, сочинить свои им в подражание — но нельзя же всю жизнь до гибели играть в чужеземцев! — так сказал Певец. «Не то родные боги отступятся от нас, как мы — от них.» Царевич отозвался строкою из «Записок Звездочета»: *«На то и нужны слова, чтобы избежать кровопролития»*. И Певец в молчании согласился. Позже иные судили так, будто бы юноша, состоявший при усадьбе, один из всех понял слова Царевича и запомнил накрепко.

— До гибели...

Туман растаял, жарко стало. Камэй пересказал старику, что услышал от палача. Летописец поправил кое-какие частности. «Горько это, когда за правдой приходится идти туда, где плаха...» И продолжил рассказ. Многого еще мы не знаем или неверно знаем о тех временах, когда мы сами сидели над книгами в Училище. По всему выходит — мы свое время понимаем хуже, чем заморскую древность...

А я всё думал: мало ведь, чтобы юноша-лучник услышал в словах Царевича приказ — «убей». Надобно, чтобы и сам Царевич им придавал такой вес — если он потом согласился, что отвечает за выстрел.

Я решил: не стану строить из себя всезнайку наподобие Тёги. Спрошу:

— Но разве мститель Ёсё у Звездочета выполнял чей-то приказ?

Летописец улыбается мне, словно пытливому дитяти:

— А как у вас в Училище толковали: что сей пример означает?

— Ёсё жил во времена, когда государя не было, а князья воевали друг с другом. На веку своем он служил разным господам, но только один ему полюбился. Потому что тот сам любил и уважал своего слугу. Господин погиб бездетным, и Ёсё видел свой долг в том, чтобы отомстить убийце. Даже если придется самому сложить голову — ведь господина погубил могущественный князь. Ёсё пробрался во вражий дворец, был схвачен княжескими людьми, а князь его убивать запретил. Наоборот: назвал самым достойным человеком в Поднебесной, поднес вина и отпустил. Все друзья советовали Ёсё: поступи на службу к князю! Он тебя уважает, и так тебе легче будет с ним расправиться. А Ёсё отвечал: *«Служить человеку, которого хочешь убить, — значит быть двоедушным предателем»*. Однако он не отступился. Изуродовал себя так, что его даже жена не узнавала, прикинулся нищим и засел в засаду при дороге. Княжий конь его почуял и шарахнулся, охрана схватила Ёсё. И вот тут-то он ответил на вопрос князя, почему за прошлых своих

господ он не мстил. Потому что те его числили за слугу, а этот господин — за друга.

— Князь молвит со слезами: *«Ты ведешь себя по отношению к своему господину, как сын, и слава твоя будет велика, но больше я тебя не отпущу»*, — подхватывает Летописец.

— А Ёсё в ответ: *«И ты прославишься, князь, тем, что меня простил. Прошу тебя перед смертью об одном: дай мне твою одежду, я проткну ее кинжалом и буду считать, что отомстил тебе»*. Так и сделал, а потом вонзил кинжал себе в грудь.

— *«И все честные мужи той земли не могли сдержать слез»*.

Теперь попробую сказать, что я во всём этом вижу.

— Итак: Ёсё мстил, как сын, но — за человека, у кого своих детей не было. У нашего Певца был наследник. Но, допустим, сын основания для мести не видел. А Лучник видел. Как отомстить, чтобы то было не в бесчестье молодому Оружничьему? Так, чтобы это не выглядело мезьью. Оттого Лучник ни разу и не объявил, что Певца на самом деле убили?

— Так его ж и не убивали! Сам захворал...

— Выходит, на пиру Певец был понят примерно так: знайте, мол, что если я скоро умру, то извело меня вот что...

— Да! — Летописец по-наставничьи подымает палец, — Именно «вот что», а не «вот кто».

— Не чья-то злая воля, а общее увлечение всем иноземным. Певцу тяжело было жить в державе, которая ему виделась всё более чужой. Лучник до последнего был при нем, а как Певец умер — в одиночку пошел войною на тех, кто чужеземные образцы нам насаждает.

Камэй спрашивает:

— А почему он с Зодчего начал?

— Зодчий — лицо, ответственное за строительство города. Города, которого здесь не должно было быть, по их суждению. И нужно, чтобы кровь именно на стройке пролилась, чтобы работы прекратили. Но не стрелять же было в простого землекопа, который про Заморье, может, и не слыхивал...

Побирушка не унимается:

— А зачем лучник сдался, почему не бежал? Хотя бы мог переждать, поглядеть, подействует ли устрашение. А то еще кого-нибудь застрелил бы, если зодчего не окажется достаточно.

Наверное, надо быть монахом, чтобы спокойно говорить такую жуть. Отвечаю:

— А это как раз по образцу. Чтобы как Ёсё. Другое дело, что глупо бороться

против подражательства и самому же подражать заморским древним.

— То-то и оно, что глупо! А хорошо ли, Тин, что мы этого парня записали в дураки?

— Или не дурак, а только там на стене сообразил, что сам он заражен. Что между ним и луком его змеится знак «лук». Что стреляя, он себя воображает заморским лучником Гзем — или еще кем-то таким.

— Спыхватился! — восклицает Побирушка.

— Мог потому и сдаться, что решил: всё бесполезно. Если, мол, даже я...

Летописец, кажется, с любопытством слушает нашу перепалку. Спрошу:

— А ты как считаешь, Камэй?

— Рассказ о Ёсё у Звездочета, по-моему, про другое. Человек хочет отомстить за господина, но для этого надо убить князя, а князя не хочется убивать. Остается эта уловка с плащом: якобы отомстил. Но и жить после этого невозможно. Что дальше-то могло быть? Княжьи люди Ёсё зарубили бы, это всё равно как если бы сам князь казнил. Жить еще несколько мгновений — значит, сделать убийцей человека, кого совсем не хочешь делать убийцей. Или князь бы Ёсё пощадил — что тогда? Тогда Ёсё хотел бы служить — тому, кому он не хотел бы служить! Даже и не пойдя он князю на службу, всё равно эти желание и нежелание остаются. Хочу того, чего не хочу. Люблю того, которого не люблю. Безвыходно. Вот он и зарезался.

Камэй замолчал. Тряхнул головою и продолжил:

— А у нашего Лучника то же самое, но еще проще. Не хочу гнева богов — и хочу вызвать этот гнев: затем, чтобы гнева не было. Тут же не считаешь: вдруг Зодчий погибнет, и как раз тот божий гнев и грянет, которого так боялся Певец. А не выстрелишь в Зодчего — город будут строить дальше, навлекая гнев богов... И все-таки парень залез на стену и выстрелил. Потому что не сделать этого значило бы: хочу, чтобы всё вокруг шло, как идет: именно то, что до смерти ненавидел Певец. Залез, выстрелил. И опять-таки приблизил то, чего Певец боялся. Лучше пусть казнят, чем мучиться этим «хочу — не хочу»!

— А Царевич? — спрашиваю.

— Он тогда на пиру сказал словами Звездочета: мы переняли заморские знаки, тамошнюю ученость и мудрость. Мы можем словами, а не кровью доказывать свою правоту. В том числе и по части сохранения нашей старины от забвения, наших холмов от рытья, деревьев — от вырубки... И вдруг видит: его поняли обратно тому, что он говорил. Вместо речи — стрельба. Получается, не оградил от насилия, а подтолкнул к нему. Могу понять, что жить после такого не хочется.



Мне это не нравится:

— Но по-твоему выходит, Лучник погиб напрасно, не говоря уже о Зодчем? А ведь Царевич мог бы пойти к Государю, объяснить, что всему причиной — недовольство иностранщиной...

— А Государь бы ему: вы что мне тут, знамения божьи подстраиваете?! И проклял бы родича на месте, никакого бы самоубийства не понадобилось.

— Да вот так-то, поступив, как поступил, Царевич вовсе ничего не достиг! Ни правоту свою не доказал, ни в неправоте не повинился.

Камэй пожимает плечами:

— Может, он потому и является теперь. И действует так, как считает правильным: пишет. Словами объясняет. А не заразой, скажем, не пожарами, как прочие духи иной раз.

И при этих словах из сада прилетела стрела. Прибила к полу циновку, дрожит стоймя.

— Это мне, — встрепенулась за перегородкой госпожа смотрительница Вдовьих покоев.

И точно, древко стрелы обмотано запиской. Летописец ее развернул и, не читая, почтительно передал супруге.

Меткие, однако, стрелки у Государыни-матери...

— Тяжко ей там без меня, — вздыхает госпожа. — Это что же, если Царевича и впрямь Сокрытым Государем объявят... Так ведь и наша Государыня тогда, получается...

— Как так «объявят»? — переспрашивает Летописец.

— Пишет она: готовится такое решение. Дабы духа умиротворить. И кто тогда будет, хочу я знать, Госпожою Вдовьих покоев?

— Кто — «кто»? Царевичева матушка покойная.

— Но как можно? Наша-то Государыня — с материка, из царского рода Кудары! А та, островитянка...

— У нее тут родичей больше, — отзывается Летописец мрачно.

Камэй мне мигает: давай откланяемся, пока старички при нас не наговорили такого, о чем потом жалеть будут.

\* \* \* \* \*

Надо бы, по совести, сходить в Восточный храм. Спросить, что да как. Но не в пьяном же виде...

Вышли мы к реке, присели на берегу проветриться.

Скверно. Душно даже тут, у воды.

Получается, опять мы всё неправильно вычислили? Сокрытый Государь...

— Не верю я, — говорит Камэй, — что такое чудо возможно. То есть запросто может быть, что родня покойного Царевича рвется к власти и ради этого попыталась вызвать его дух. Желая посмертно возвести его на престол. Но чтобы дух подчинился? Из семейной преданности? Не верю. Гневные призраки бывают, мятежные — бывают, но про чадолюбивых нигде не сказано. И даже если вообразить, что ради семьи дух является, всё равно: ну, явился бы своим потомкам. Рек бы: вы что ж творите?! Для того ли я умирал, чтоб вы меня опять во дворцовые дрязги втравливали?

— Вот именно. Любящих призраков, может, и нет, но такой попытки потревожить умершего — достаточно, по-моему, чтобы дух его разгневался. Он и пишет во дворце, к чему приведут те дрязги. К гибели Столицы и всей державы.

Гладь воды блестит, а под нею черно. Стрекозы носятся.

Едва ли Камэю можно говорить о таком с посторонними. И всё же:

— Верно ли, что те Государевы монахи из Южной столицы как раз и прибыли, чтобы объяснить при дворе весь этот семейный расчет? А там уж миряне пускай сами решают, на чьей они стороне. За родню Царевича или против.

— Не знаю. Я-то не монах, — отвечает он.

Вот тебе раз! Но как же...

— Одеваюсь в дорогу, как удобнее. Посвящения не несу.

— А кто ты тогда? Бродячий книжник?

— Побирושка. Хватаю, где что придется: из грамотейского пути, из монашеского, из темного-ясного...

Я всё еще тарашусь на него. Камэй криво усмехается:

— Ты же видел: я и выпиваю, и вру. И жена у меня была. В общем, законное монашество — не для меня.

— Хотя обряды ты и знаешь?

— Знаю.

Да я же не к тому веду, что выгоню его из дому, раз он права не имеет вести очистительный обряд. Просто худо: сколько я не понимал.

— Супруга твоя...

— Жива. Рассорились мы с ней. Детей — нет. А ты, Тин, отчего не женишься?

— Дед меня не успел сосватать. Да у него и кроме меня есть внуки-правнуки. Отцу не до того. А сам я... Глупо: хотел, как заморские грамотеи, влюбиться по почерку.

— Какова же должна быть красавица, ежели под ее рукою знаки слагаются в узор, подобный полету птицы Хо?

— Только что-то нынче в Столице девушки не прилежны к письму. Даже в тех семьях, которые с материка родом.

— Надо, чтобы она уже была грамотная? Сам учить не хочешь?

— Хотелось бы еще, чтобы ей это было не докучно.

— А ты не ограничивайся Столицей. По опыту скажу: захолустная ученость не хуже здешней, а лучше. Такие книги иной раз встретишь! Вот например: есть в Золотых горах одно селение...

— Там тоже все заражены?

— Иностранщиной? А их, Тин, это не портит. Просто... Добавляет разнообразия. Если одно и то же можно и вслух выразить, и кисточкой изобразить — то отчего бы и нет?

— А получается ли «одно и то же», Камэй? Певцу напрасно казалось, будто он родную речь забывает?

— За него не скажу. Мне — не кажется.

— Ты затем и говоришь книжными строками?

Странно: вот тут он смутился. Как если бы я первый ему указал на эту его привычку.

— Ну, да. Чтобы чутя разницу, когда я от себя говорю, а когда — так, вообще.

— А Певец, может быть, потому и рассуждал о воле богов, что она уж точно — родное, не книжное дело.

Он некоторое время глядел на меня совсем бессмысленно. А потом — как говорится в монашеских проповедях: «подпрыгнул вверх на одну-две стопы».

— Вот, Тин! Теперь я понял!

— Что?

— Царевич и боги. Он не от нашей жизни уходил. Чушь какая! Он — туда, к ним. Сам хотел спросить: гневит ли их то, что тут творится? И раз теперь он дух... Раз он до сих пор тут...

— Не понимаю!

— Да ясно всё. Я знаю, что боги ему ответили.

Но так и не объяснил, что именно.

\* \* \* \* \*

Ближе к вечеру мы вернулись домой. Зашли во двор, шагаем к дому — а

между нами и воротами вдруг заступают на стражу молодцы из челяди господина Копейщика. Он же — старший жрец по делам нечестий и скверн в Государевой Палате Обрядов.

Сам Копейщик поджидает в доме. Бумаги мои все вытащены из укладок, свитки развернуты и раскиданы по полу. У господина рукава спущены, голыми руками он тут ни к чему не прикасался. На то есть служба, и не хочется думать, сколько грамот из моей комнаты этот малый уже прибрал к себе в корзину. На случай, если раскроется-таки заговор, а не просто нечаянное нечестие.

Копейщик смотрит мне в глаза. Поди отвернись от такого взора!

— Так-то ты, старший стенописец, соблюдаешь затворничество? «Дабы не сквернить Столицу»? Второй день мои люди тебя дома застать не могли! С самого утра я тебя тут дожидаюсь!

Камэй отвечает деловито:

— Как раз над этим мы и работаем. Чтоб не сквернить. Готовимся к очищению.

— Очищение — не могильщицкое дело, — рявкает Копейщик. И больше на Камэя не глядит.

Похоже, жрецам Обрядовой палаты тоже стали поперек горла те советы насчет Сокрытого Государя. И виноваты, по их счету, Государевы наставники-монахи. И все общинные люди, и любой бритый.

Жрец торопит меня:

— Изволь отвечать!

Будь так: винюсь. В самом деле, я должен был сообщить об очередном явлении духа сам, не дожидаясь, когда ко мне придут. Но я рассудил: оскверненному лучше покинуть дворец как можно раньше. Ведь тот жрец, кто почуял бы на мне порчу от мертвеца, сам нуждался бы в немедленном очищении. А значит, на одну мудрую голову в Палате Обряда стало бы меньше. Пусть всего лишь на несколько дней — но сейчас, в пору опасности, такое выбытие знатока обрядов было бы совсем некстати...

Копейный господин на мои покаяния рассердился еще пуще:

— О нас заботишься? Чтобы нам не скучать, а за тобой по следу бегать и полгорода очищать?

— Надеюсь только, я не успел много мест опоганить. Бывал только там, где и без меня нечисто. Выходил рано, возвращался поздно, стараясь не встречаться с прохожим людом.

— Ну, так вот: больше ты выходить не будешь!

И показывает мне свиток с приказом. О заточении меня в собственной моей городской усадьбе и недопущении ко мне посетителей. Впредь до особого решения Обрядовой палаты.

То есть прощай служба. И скорее всего — не только рисовальная, а и всякая. Батюшка скажет: чего и следовало ожидать!

И куда моим людям деваться, как вернуться с припасами?

Хотел бы я знать, что из бумаг без меня успели сжечь. Перед Копейщиком стоит зимняя жаровня, в ней свежие угольки. Или его служки тут для какого-то обряда огонь разводили? Я-то не жрец, я не разбираюсь.

А горелым пахнет сильно. И всё сильнее. И угли вспыхивают — высоким пламенем.

Камэй распоясывает рубаху. Стягивает ее с правого плеча. Скользит вокруг жаровни, медленным шагом — протянув правую руку к огню, в огонь.

Копейщик застывает неподвижно. То ли он этого обряда не узнаёт, то ли мешать не хочет.

Жаркое марево, в нем я толком не вижу, что творится дальше. Пламя взбегает по руке Камэя, вверх, на плечо. И он резко разворачивается, этой рукой выхватывает приказ у господина Копейщика.

Переворачивает полотно изнанкой кверху. Кладет на горячий воздух, на густой дым. И оттуда же, из дыма, левой рукой вытягивает готовую, мокрую кисточку.

Пишет. Напряжен так, будто для каждой черты нужно усилие всего тела. Пишет быстро, я не могу уследить, какие это знаки. Дописал. Стряхивает тушь с кисти прямо на бумагу. И падает.

А Копейщик не пытается его подхватить. Ловит свиток, пока полотно не загорелось. И отшатывается как можно дальше, потому что Камэй дергается в корчах. Пламени уже нет, только клубы дыма. Я кашляю, стражники кашляют, служка перебегает, падает на колени рядом с Камэем, прислушивается. Чтобы разобрать, если одержимый начнет вещать.

Не надо, машет ему Копейный жрец. Еще раз вчитывается в надпись на свитке. Потом словно бы вспоминает что-то, подзывает меня.

— Почерк этот видел?

Я видел. Почерк Третьего Царевича, ровно тот же, что во дворце. Как я раньше не догадывался, что дух — левша?

Или не дух, а Камэй. Да нет, кабы он — я бы помнил по Училищу.

— Тот самый.

Только на сей раз не стихи, а указ. Скреплен печатью Главного Сановника. Надо ли понимать так, что то пожалование дух принял, и нового не желает?

Говорится в указе об устройении земель в некоем уезде Хираока. Особо оговорено: выделить строевого лесу для воздвижения столбового святилища. Ибо край тот берет под покровительство бог Царственный Муж Очиститель Широких Холмов.

Хираока, Широкие Холмы — так теперь зовется то место, где пятнадцать лет назад не построили Столицу.

\* \* \* \* \*

После обряда Побирушку почти сутки колотило беспрерывно. Потом — затих, обмяк, почти не дышал. Копейный жрец зашел проведать, сказал: не умрет.

— Если он опять призовет к себе духа — не давай. Рано ему пока.

— Чего не давать, господин?

— Из сосредоточения его выводил. Хоть пинками, или как у вас с ним заведено.

Мне пришлось объяснять, что давеча я чудеса Камэя видел впервые в жизни. Не то чтобы мы с ним родичи или сызмальства неразлучные друзья. Жрец удивился. Шевельнул густыми бровями:

— Так что он тут у тебя делал?

Сдается мне, господину Копейщику как знатоку обрядов это должно быть виднее.

— Затрудняюсь сказать...

Копейщик задал еще два-три не понятных мне вопроса. Поверил, кажется, что я и вправду в призывании духов ничего не смыслю. Снизошел до разъяснений:

— Твой приятель — очень сильный чудотворец. Откуда он такой взялся, будем разбираться. А здесь что было? Он взмолился: пусть Государев Главный Сановник изволит воспользоваться его телом, дабы ясно явить свою волю. Пока мы с его посланиями вконец не запутались. Что парень после этого выжил — хорошо. Но учиться ему всё равно надо. И многому.

Походил взад-вперед и прибавил:

— Это, думаю, не родовой его дар. Редко, но бывает и такое. Только... Хотел бы я взглянуть в лицо тому болвану, кто этакого малого пустил в чиновничье Училище! Не иначе, родня похлопотала...

Велики чудеса в нашей Облачной державе. Что тут еще скажешь?

А еще Копейный жрец спросил:

— Вы о том деле, что было перед кончиной Главного Сановника, всюду справки наводили. Было?

— Было.

Вздыхнул:

— Те господа, Оружничий и Царевич, жреческого служения не несли. Державного — уж точно. Оружничий хотя бы своему роду был глава, родовых богов обихаживал. Царевич и того не умел. А брались рассуждать о гневе богов на всю страну! Хотя ничего в том не понимали, и права не имели понимать. Спросили бы хоть в Обрядовой палате. А мы бы им сказали... То есть отец мой и тогдашние жрецы сказали бы: боги уже знать дали бы, кабы им претило тут что-то иноземное. Им, богам, как-то виднее.

Мне было велено смотреть, как бы Камэй не задохнулся и не изувечил себя, если снова будут судороги. А в остальном — не забивать себе голову обрядовыми делами, которые меня по роду моему и чину не касаются.

\* \* \* \* \*

Похолодало, дождь идет. Мой товарищ открывает глаза. Взор почти осмысленный. Очнулся? Опять — ненадолго?

Подтягивает к себе ближайший исписанный листок. Читает.

— Что за муть?

И, приглядевшись, окликает меня:

— Ты, Тин, заклинателя сюда приглашал?

Как бы я это проделал, желал бы я знать. Усадьба-то всё еще запечатана печатью Обрядовой палаты.

— Это ты бредил, Камэй. Письменно, на разных заморских языках.

— То-то я смотрю: буквы, не смысловые знаки... А ничего, недурно выведено!

— Тебе получше?

— Ага. И долго я так провалялся?

— Нынче — пятый день.

Он проводит ладонью по голове: щетина успела отрасти.

— Н-да... Где-то среди моих вещей должна быть бритва...

Сначала попробуй хотя бы сесть на постели. Там поглядим.

— Знаешь, а ведь Обрядовая палата тебя, похоже, будет звать на службу. Пока ты болел, тут не только Копейный жрец побывал, Обезьяний тоже. Который главный по вещаниям и предсказаниям. Говорили меж собою: редкостный дар...

— На службу к ним — присяжным чудотворцем?

Отчего-то я так и думал, что Камэй откажется.

— Но очищение нам с тобой всяко обещали. Как только будем в силах добрести до реки.

— А о Царевиче что слышно?

Расскажу вкратце. Сокрытым Государем его не объявили. Указ, написанный здесь при посредничестве Камэя, оглашать не стали. Но, кажется, и не оспорили. Печать-то подлинная, даром что ее для Главного Сановника к тому дню еще не успели изготовить... Чудо!

По крайней мере, нас не винят в нечестивой ворожке. Камэй, по их решению, духа не вызывал, просто оказался настолько чуток к чудесам, что Царевич сам выбрал его тело себе опорой. Временной, к счастью.

А со слов сослуживцев моих, рисовальщиков, я знаю: во дворце отвели уже особый покой, где складывают бумаги на подпись Главному Сановнику. Наброски постановлений, на случай, если дух снова явится.

И всё-таки: что за обряд здесь совершился?

— За жилище свое не бойся, — говорит Камэй. — Дело это не злое. Я попросил Пустую Утробу, чтобы помогла нам. Знаешь, кто она?

— Не знаю.

— Подвижница, бодхисаттва по имени Кокудзо — Пустая Утроба. Заступница всех попрошаек, включая тех, у кого голод на познания. И на чудеса. Кстати: у тебя из еды ничего не завалилось?

— Тебе пока можно только крупяного отвара. Сейчас заварю.

— Благодарствуй. Вот: я попросил. Подвижница же Кокудзо едина с Просветленным, а Просветленный пребывает повсюду. Раз повсюду — значит, и там, где в ту пору мыкался дух Царевича. Подвижница его сюда и пригласила. Ибо что такое сам дух, как не бродяга, молящий о пристанище? *А тут, известно же, щедры гостеприимцы...*

Да, куда уж щедрее.

Молчу. Отчего бы мне с самого начала не сказать: прошу совета? А я заговорил об обряде. И в итоге Камэй у меня чуть не погиб.

И сам он теперь глядит, будто извиняется: вот, мол, перестарался.

А потом говорит:

— Мне тут снилось на днях. Ничего, если расскажу?

— Да, конечно.

— Восседают боги Облачной державы у себя в высоком доме. Наподобие сановников во дворце. Я здешнего вашего дворца не видал, но как воображаю —



похоже. И является к ним Царевич. То бишь Царственный Муж с Широких Холмов. Его приветствуют, как своего. Дескать, теперь всё верно, ты — Главный Сановник. Значит, ему сейчас-то уже и Обрядовая палата подчиняется и все ведомства. Он может и святилища учреждать, и исправлять обычаи. А раньше не мог, прав не имел.

Спрашивается: можем ли мы всё это не докладывать в Обрядовую палату?

\* \* \* \* \*

Миновало еще несколько дней. Побирושка поправляется, но пока весьма слаб.

Господину Обезьяньему жрецу он сказал, что имеет свой способ блюсти верность Властителю Земель. Верность требует от каждого нести службу, сообразную его роду и опыту, а он, Камэй, не из жреческой семьи и даже в Училище не доучился. Его удел — странствуя, собирать сведения о разных обрядах, бытующих в Облачной стране. И когда тех сведений наберется побольше, он рад будет представить их, куда положено. Дабы когда-нибудь и наши летописи украсились разделом, подобным «Обзору жертвоприношений» в «Записках Звездочета»...

Жрец спросил: ты — что же, все обряды намерен сам разучивать? Камэй: нет, освою только те, какие мне понравятся. Жрец: а не боишься? Не все любят, когда за их святым служением подглядывают чужаки. Камэй заверил: *«Не жалко голову сложить Отечеству на благо»*. Обезьяний кивнул: воистину, дурную — не жалко.

Кроме жреца у нас побывал еще ученый из Ведомства Темного и Ясного. Тоже звал Камэя к себе в ученики. Тот сослался на первозданную простоту. Сохранить ее в людном городе немыслимо, а коль скоро путь Тьмы и Ясности ведет именно к ней, то как раз приверженность пути и велит ему, Камэю, не учиться оному пути... Или там всё еще замысловатее было, но я не уследил.

Из монахов никто самолично не пришел. Прислали письмо.

— Ну, тут толком и не ответишь. Даже имя перепутали...

Я заглянул в бумагу. Вольному страннику, прилежному в освоении книг и обрядов, предлагается принять монашеский сан под именем Камэй. Пишется иначе: *ка* — «обращать», *мэй* — «заблудших».

Скромник мой кривится:

— Читать противно! *Преобразует ложные пути* известно кто: Просветленный. Пакостнику вроде меня так зваться не подобает вовсе.

А в промежутках между переговорами с начальством я опять морочу Камэю голову тем давним делом. Ведь скоро Побирושка снова уйдет бродяжить.

— Я так и не нашел, где в «Записках» та строка, которую привел Царевич. Зато я понял, что у Звездочета для меня страшнее всего. В чем главном я его не понимаю. И никогда не пойму, сколько бы мне примеров из него ни приводили.

— И что у него главное, по-твоему?

— А вот это: *«Обряды установлены, чтобы желания людей не истощались в вещах, а вещи не оскудевали бы от людских желаний»*. Чтобы каждый подданный в державе занимал свое место и не требовал себе благ сверх должного. *«Обряд — мера для поведения людей, как отвес и наугольник — мерила для постройки зданий»*.

— А что тут нехорошо?

— То, что боги ни при чем. И Земля, и Небо, и предки, и мудрецы, и Просветленный со своими подвижниками — все они у него средства, получается. Цель — обуздать людскую жадность. Чтобы не каждый каждому глотку рвал, а только тем, кто ему по чину положен в прокормление. Вот для чего обряд придуман. Именно что — придуман, а не богами дан.

Камэй долго думает. Потом отвечает:

— Звездочет по-другому написать и не мог бы. Там же у него в книге столько скверного... И про царства, и про великих мужей. Кровь едва ли не в каждой строчке. Да кабы только кровь. Нет: еще и подлость, и глупость...

— И доблесть. Как у Ёсё с князем. Чем лучше люди себя ведут, тем хуже все оборачивается.

— Да. У них-то хоть один выжил. И хоть один сумел другого не убить. В иных главах и того не удастся... Ну, и как было посреди такой книги — вдруг сказать правду о богах? О делах людей с богами? Никак. Вот Звездочет ее и не касался.

— Этакое изощренное благочестие? Не думаю. Это ведь не только рассуждения Звездочета. Люди, о ком он пишет, и живут так. А это, по мне, хуже нечестия: слепота. Не видеть богов, не помнить, что они рядом. Вот, Ёсё плащ пронзает. На первый взгляд — обряд как обряд. Только он его тут же на месте изобрел! Чтобы не убивать другого хорошего человека, но и от мести не отказываться. И не думает даже, что можно бы и самого покойного господина спросить: чем могу послужить тебе? Получается, для этих материковых людей кто умер — тот умер, всё! Как так жить-то можно?

— Вот Певец с Царевичем и считали, что нельзя.

— Если бы я так верил, что люди — одни, без богов, я бы тоже искал

кратчайшей дороги к палачу.

— Но ты же не веришь так? И я не верю. И большинство — не верит. А книгам нас в Училище, может, затем учили, чтобы мы знали, как не надо жить. Не образец давали, а страшали. Вот мы и пуганные.

\* \* \* \* \*

За полгода многое успело перемениться. Дворец отделали, но наши надписи велели перенести из жилых палат в должностные. Дабы избежать неразумного подражания заморью.

Камэй у меня долго не прогостил. Исчез, не простившись. А потом от него передали письмо: ему все-таки пришлось пройти испытания и вступить в монашество по закону. Потому что весной он едет с посольством на материк, изучать обрядовую науку у наставников страны Каракуни. Имя он получил свое, обещанное: *Камэй*, но теперь оно пишется как «умножать таинственное». Тоже громко звучит, но тут мой друг согласился.

А в Столице под Новый год объявили назначения. Мне — в уезд Хираока, управителем.

Отродясь не думал, что кто-то мною станет кичиться. Но приехал к месту службы и услышал: вот, ценит же нас Властитель Земель, не кого-нибудь прислал — выпускника Училища! Тем уместнее похвальба, что здесь, в Хираоке, обычай теперь велит особенно строго сторониться иноземных затей, в том числе и грамотейских... Во исполнение воли Царевича, он же ныне Царственный Муж Очиститель.

В городе, который не построили, здесь начиналась бы окраина. Сейчас — небольшая площадь, выходят на нее склады и здание уездной управы. С крыльца видно подножие холма. Там сложены уже стволы дерева суги — восемь столпов нашего будущего святилища.

Между божьим холмом и соседним — капустное поле. На краю его по весне повадились собираться какие-то люди, странно одетые. Сидят, выпивают, стихи читают. Про сломанные стропила, просевшие подножия, заросшие ворота — и прочее во вкусе заморских сетований по сгинувшим городам.

Мне в помощники назначен дядька из местной жреческой семьи. По его словам, род сей служит Царственному Мужу от самого века богов. И Муж-то еще не был явлен, а служение всё равно вершилось...

Однажды слышу я, как помощник подходит к этим пьяницам:

— Вы чего тут?

— Поминаем прежнего Оружничьего, великого нашего Певца.

— Почему, спрашиваю я, поете не по-нашему?

— А мы стихотворцы, не певцы. На материковом наречии сочиняем.

— Так не положено! Земля святилища...

— Здесь-то как раз можно. Тут ведь бог — защитник от чужеземного вреда.

Стало быть, и нам заступник. Вот хоть начальника вашего спросите...

Я же и говорю: с богами — легче. Между мной и святилищем есть и будет заморский знак «бог». Только не как стена, а как мостик.